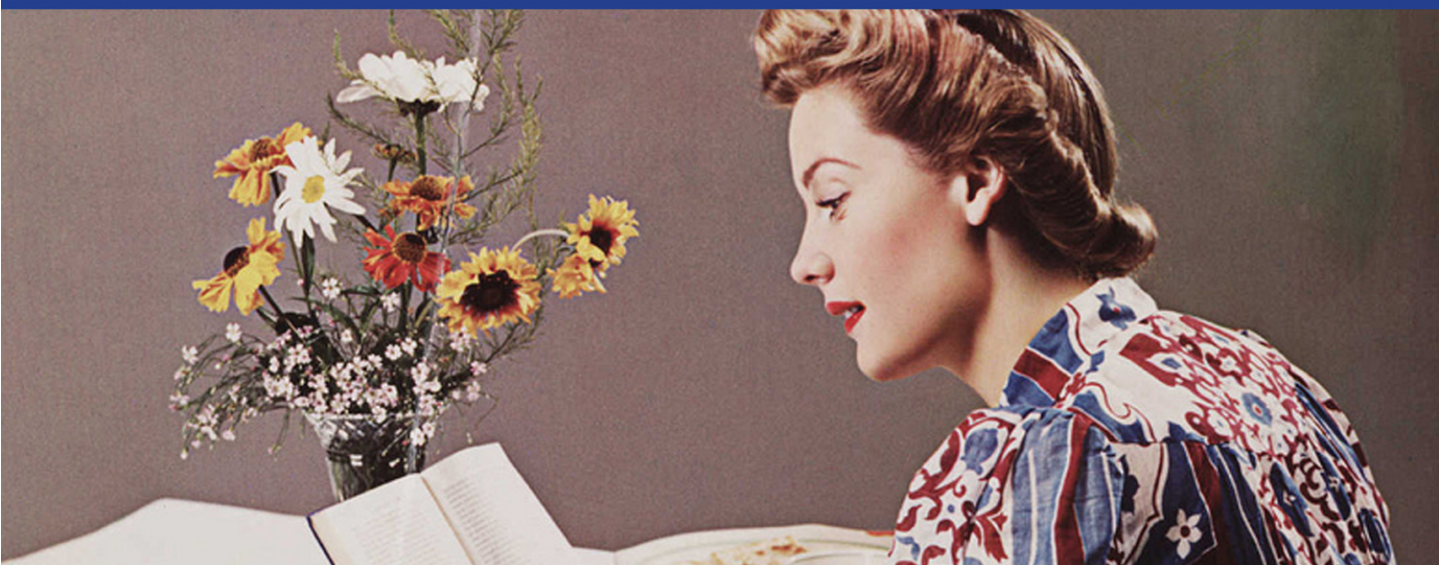


Галина Щербакова

Слабых несёт ветер

ФТМ



Галина Щербакова
Слабых несет ветер

«ФТМ»

Щербакова Г. Н.

Слабых несет ветер / Г. Н. Щербакова — «ФТМ»,

Это истории женщин одной семьи и тех, кого они выбрали в игре без правил под названием жизнь. Самая старшая обрела счастье, уже не надеясь на него. Ее дочь «придумала» себе любовь и погибла из-за нее. А третья, юная и дерзкая, не хочет ждать чуда, ибо «слабых несет ветер», а она должна все в своей жизни сделать сама. Кто знает, что ее ждет впереди?..Произведение входит в авторский сборник «Женщины в игре без правил».

© Щербакова Г. Н.

© ФТМ

Галина Щербакова Слабых несет ветер

Наконец они перешли дорогу. Боль в плече не проходила, и Тоня, так звали женщину, вспомнила, что еще в школе на физкультуре она ломала ключицу. По дури. Ей хотелось досадить одной девчонке, и она стала выкомариваться на брусьях – подумать сейчас: зачем, для чего? Тогда та девчонка решила лихо соскочить с переворотом. Тоня же этого не умела. Но что-то там внутри ее закрутило, завертело, полезла, дура. Если посмотреть на всю Тонину жизнь взглядом назад, то это был единственный и неудачный случай выделиться из толпы. Она была настолько как все, что ее вечно путали с другими, а эти другие, случалось, обижались, что их принимают за нее. В общем, никакую. И дома мать говорила: «Ты не красавица, не умница, ты простая. Простых большая часть. Они пекут хлеб и шьют штаны. И тебе так жить. Другой жизни у тебя не будет». Обидно не было. Тоня была очень уравновешенная сначала девочка, потом барышня. Бывало, слышала по телику и на уроке литературы, что, мол, каждый человек – удивителен, что в каждом есть свой секрет, своя красота. Тоня смотрела себе вовнутрь, внимательно смотрела, заглядывая за створки легких, в мякоть печени, в клубок кишок. Ничего секретного в ней не было. Ей ничего не хотелось особенного, у нее не было никакого таланта, она была простая, из самых простых, мама не ошибалась. Так она и построила свою жизнь. После школы пошла не в институт – боялась, что конкурса ей не одолеть, – в техникум. Техникум готовил работников для жэков. Ее научили перекрывать воду, ломиком растворять двери застрявших лифтов, пробивать «бабой» забитый мусоропровод, чинить газовые конфорки. Это был очень провинциальный техникум, выбившийся в люди из профтехучилища благодаря очень большим амбициям директора, члена бюро райкома партии.

Возможно, он был первым в том величественном движении по переименованию, которое потом приняло размеры тифа. Школы стали гимназиями с теми же самыми плохо говорящими учителями, институты все как один стали университетами, последние перевоплотились в академии, и пошло-поехало. Жаль, что фамилию первого члена бюро райкома никто не вспомнит, когда бани станут термами, улицы – авеню, а вокзальных блядей начнут величать гетерами. Все это еще впереди, мы пока еще в процессе. Слава тебе, неизвестный член!

По сути дела, Тоня ничего толком и не умела, жила в общежитии, в отдельной комнате, сделанной из душевой и уборной. Уборная сразу была поставлена во дворе – рабочие не баре какие-нибудь, сходят на улицу, баня тоже была недалеко. Тоня кое-как перекрасила сине-зеленые стены в подобие бежевого цвета. Повесила тюль, приехавшая из поселка в райцентр мать купила ей диван-кровать задешево, ибо он, чертов диван, не раскладывался в кровать и продавался как вещь с браком. Но какое это горе, если Тоня спит одна. Наоборот, лежишь на боку, а спине мягко. Отдельность Тониной жизни вдруг возбудила мужской интерес. Но мама Тоню предупредила: к тебе в каморку будет ломиться мужичье, вставь замок покрепче. И Тоня вставила дорогой блестящий замок на тоненькую дверь. Имея в виду, что вламывание посредством плеча – уже хулиганство и можно звать милицию. В милицию Тоня верила. Поэтому первый ее мужчина был милиционер. Звать на слом двери его не пришлось, Тоня его пустила сама, повернув блестящую защелку дорогого замка. Он-то и разломил надвое диван-кровать, после чего диван уже никогда не сложился, так и остался хорошим пространством для двоих и неудобным (без спинки) для женщины одинокой. Ну конечно, он обещал жениться! А как же! Все ведь обещают, милиционеры в этом деле не хуже других. Но женился он на другой, сказал Тоне очень назидательную речь, что жену раскупорить хочет по правилам отцов и дедов после заключения официальных процедур, а не до. Именно потому, что так сказал милиционер, Тоня приняла измену достойно – сама, мол, виновата, надо было не пускать. Вообще как-то в изложении получается, что Тоня – дура, но это абсолютно не так, а если и так, то почти все

русские бабы – дуры, но тогда непонятно, почему они так притягательны для мужчин других стран. Много есть ответов на этот вопрос, и дурь в том числе, ибо она еще и неприхотливость, и непривычка жить по-людски, и благодарность, если не бьют и не обзывают. Тоня, обжегшись на милиционере, не научилась ничему, тем более, какой смысл? Если главное достоинство было уже порушено к чертовой матери? И к ней ходили. Однажды в их общежитии поселился очень мрачный дяденька. И, естественно, пьющий. Его Тоня стала бояться, потому что вид у него был вполне такой, что «убить может». Тоня обходила его стороной, а когда встречалась на лестнице, жалась к стене, представляя, как он в одну секунду может кинуть ее через перила. И накаркала насчет перил. Однажды подымалась с тяжелой сумкой, держась за них, и на самой середине пролета почувствовала, как уходят перила из-под рук, как сыплются вниз стоячки из слабых досточек. Сильные руки дернули ее вверх, и она оказалась прижатой к этому ужасному мужчине, которого так сторонилась. Мужчина заматерился смачно и с чувством, отчего Тоня на секунду потеряла сознание. Не из-за мата, нет, что, она его не слышала? От голоса – глухого и мощного, исполненного такой ненависти, что мысль «убить может» просто как бы была продемонстрирована на факте противоположном – спас ведь. Он взял ее сумку и ее саму и понес к ее двери, что говорило о том, что он знал, где она живет. Она стала искать ключи в кармане, больше им быть негде было, и не нашла. И тогда мужчина сделал то, что и полагается делать всякому нормальному злодею: легко, не напрягаясь, выдавил филенку.

Потом он же ее и чинил, а она его кормила варениками с картошкой, и он попросил у нее нож, чтоб разрезать вареник, а все предыдущие мужчины ели их одним захватом рта. Эта странность слегка удивила и даже напугала ее. Он ведь был молчун Герасим, и пользование ножом было фактом чудноватым после выдавленной филенки. Больше он к ней не заходил, но починил перила той лестницы, с которой она едва не сорвалась. Он же принес ей ключи от замка. Видимо, тогда, когда она наклонилась, они выскользнули из кармана и звякнули где-то внизу. Она сказала «спасибо», добавив, что они ей теперь ни к чему, она поставила новый замок. Он кивнул и ушел. Потом она узнала, что зовут его Павел, что он из Ленинграда, геолог. Все.

Павел-Герасим действительно ходил с геологами, хотя был классным электронщиком и даже лауреатом Госпремии какой-то там степени. Он вырос в семье, где к столу подавались салфетки, где суп ставили в супницах, а кофейные чашки не путали с чайными. Это его раздражало, мир давно жил без этих правил. Их квартира из двух комнат была частью большой коммуналки, где сроду не водились супницы, а если и водились, то стояли, как правило, где-то высоко на шифоньерах и буфетах и выполняли роль потайного места для всяких мелочей. Но он очень любил своих родителей, переживших и блокаду, и репрессии, поэтому готов был все стерпеть, даже мамины уроки вальса, которые она ему преподавала в шестнадцать лет. Как же ему было неловко тогда держать маму за талию и делать эти раз-два-три, раз-два-три. Но от родителей он готов был стерпеть все: и супницы, и вальсы. О воле мечтал очень крепко, хотя женился рано. На однокурснице, которая ела апельсины с такими брызгами во все стороны, что это даже вызывало интерес: как это у нее получается? Девочка с брызгами привела его в свой дом, где все толклись на кухне – первые дома хрущевских новостроек. Отец девочки прибил к стене столешницу, которая после обеда подымалась вверх и цеплялась за крючок. Тогда на оставшемся пространстве сидели кружочком и пили чай-кофе с передвижением (со сдвигом) в сторону чайника или кофейника, стоящих на плите. Дурь какая-то, думал Павел, почему не закончить обед по-людски, за столом? Он даже спросил девушку, ее звали Катей, что бы значило такое чаепитие со сдвигом. Она сказала, что это мамина заморочка, что столы ее стесняют, они разделяют людей, а так, коленка к коленке, – интимно и душевно. А то, что люди идут за печеньищем через чужие ноги к подоконнику – самый большой кайф. «Мама хранит коммунальский дух». Нет, это было не его. Это тоже была неволя под сенью поднятой столешницы, на которую он смотрел подозрительно, боясь, что она когда-нибудь рухнет на головы.

Но так случилось, что женился он на Кате. Ее бабушка отдала им крохотульку-однокомнатку, а сама переехала в этот дом с угрожающей столешницей.

И все было замечательно. Девочка с брызгами была и хорошенькой, и умненькой, с ней было интересно трепаться на любые темы. От Гумилева до невесомости, от особенностей строения гениталий до фактов наличия божественного начала в жизни людей. Павел был счастлив легкостью своей подруги, которой хорошо и уютно было везде: и у его родителей с супницей, и в тесноте кухни, где все ходят как хотят, ища необходимое, и дома, где пусто, где вместо кровати на чурбачках лежит огромная дверь, а на ней два матраса. Они вечно сдвигаются в стороны. И бывало, что они оказывались на середине голой двери, а матрасы – на полу. Но это было так смешно. Дочь родилась, когда они уже оба работали и их ставили в пример: какие разумные молодые – дождались окончания вуза, а разума в этом не было ни грамма, они не предохранялись, просто ничего не завязывалось по Божьей воле, а не по человеческой. С рождением девочки новое появилось в Кате. Она все время что-то требовала. «Нам нужен миксер», «Я хочу эту горку». Первые ее требования дружно исполнялись всеми родителями сразу. Складывались – и покупали горку. Шубу. Овальнйй ковер. Греческие овечьи шкуры на диван. Первыми из гонки угождения вышли Катины родители. Они сказали: «Хватит. Живи с тем, что есть». Родители Павла держались дольше, собственно, до самой смерти матери, болезнь которой Павел как-то даже не заметил. А потом не заметил, как Катя стала выменивать две комнаты отца на отдельную квартиру. И нашла. Но отец так был поражен предложением съехать с насиженного места, так оскорблен тайностью всего деяния, что резко замолчал на детей. И молчал много лет, разговаривая только с внучкой. «Я не знал! – кричал Павел отцу. – Не знал!» Отец смотрел на сына каким-то скорбным взглядом, в котором Павлу виделось презрение, хотя это была жалость.

Легкая на все темы болтовни раньше Катя теперь могла говорить только о метрах, высоте потолков, окнах на север-юг, паркете, ширине ванны и прочая, прочая. Она вошла в плотные слои меняльчиков и маклеров, и ей там было самое то.

Кончилось тем, что Павел переехал к отцу, а Катя с дочкой оказались в выгородке из барской квартиры, но вполне изолированной и комфортабельной. Отец Павла отдал на это последние, что «на смерть», деньги, а родители Кати из «хрущевки» вернулись в коммуналку, дух которой так блюла теща. Но, вернувшись в излюбленный быт, она умерла через месяц, потому что ее желудок не совпадал с очередью в уборную, однажды она просто обделалась, от стыда получила инсульт – и как не было женщины.

Павел не пошел хоронить тещу, потому что шел развод и Катя требовала «для дочери» те самые супницы и сотейники, которые так не любил Павел, но отец, продолжая не разговаривать с сыном, написал ему: «Пока жив, не отдам».

– Пусть напишет завещание, – сказала Катя. – Ты же можешь жениться, и тогда с кем мне придется разговаривать?

Вот тогда он ее ударил. А дело было на улице и среди бела дня. Катя заорала не своим (хотя почему не своим, теперь это был как раз ее голос) голосом, милиционер оказался «в кустах», и пошло-поехало. Павел получил за хулиганство по максимуму. Потерял работу, был лишен встреч с дочерью, отец отдал без звука все супницы и сотейники.

Вот тогда Павел и ушел с геологами. Было ощущение завершенности жизни, ни хуже, ни лучше, казалось, быть не могло, а значит, пусть все течет, как течет. Без него умер отец. Он не успел на похороны – приехал, а в квартире дочка, Наташка, тринадцати лет. Сидит за кончиком стола, решает задачки. «Мама мне велела сторожить квартиру», – сказала она тихо. «И давно сторожишь?» – «С тех пор, как дедушку увезли в больницу».

А ему казалось, что все то кончилось, что геологической грязью он и омылся, и очистился. Было! Было желание вытолкать взашей девчонку, но она такая была худенькая, такая сразу виноватая, что он сел с ней решать задачки. И пока вспоминал, как это делается – объ-

яснять себе известное другому, вспомнил и все остальное. Какая она была крошечная, и как они боялись, что у нее врожденный тазобедренный вывих, и все вытягивали ей ножки, и смотрели на складочки попки. А ведь он думал, что гнев и ненависть к жене уволочут за собой и это слабенькое чувство к малышке. Не уволочили. Он радостно с ней пожил несколько дней, даже с Катей по телефону поговорил, сказал, что ребенок очень худ и не мешало бы слегка подкормить.

– Подкормлю, когда начну получать алименты, – ответила Катя. – Тебя ведь ищи-свищи не сыщешь.

Он уехал и стал пунктуально присылать деньги сам, аккуратно складывая корешки переводов. «Вот так становятся жлобами, – думал он, запихивая в специальный карманчик очередной корешок. – Знать бы, что это идет на девчонку». Написал дочери письмо, чтобы прислала фотографию. Прислала. Хорошенькая, веселенькая, похожая на мать. Должны были встретиться летом.

В тот год они засели в забытом Богом поселке. Были все основания считать, что стоит он «на нефти», так говорил их начальник партии. Вот они и ковырялись вокруг, расселившись по поселку, можно сказать, как в гостинице. Павел попал в общагу тамошних строителей, народа пьющего и без претензий к жизни. Все было грязно, все воняло, полы проваливались, окна были наполовину выбиты. Павел все это ненавидел, ненавидел это в народе, который, где жрет, там и срет. Уходя из комнаты, он сворачивал матрас с бельем в рулон и связывал все веревкой, потому что видел, как без всякого на то разрешения люди садились на чужие постели, могли и улечься с ботинками, как сморкались в чужие полотенца, как надевали чужие куртки и трусы, если своих под рукой не оказывалось. Конечно, его за это не полюбили. Ишь какой не свой! Вроде на нем грязь другая, не наша русская. Однажды чуть не убила девчонка, опершаяся на перила, едва ее подхватил. Потом чинил и дверь, и перила, а она его кормила. Ее комната была единственным человеческим, а не свинским местом. Девушка самая простая, техник-смотритель.

– Какой же вы смотритель, если у вас все рушится?

– Я знаю, – сказала она тихо. – Вот кто-нибудь насмерть убьется, и меня посадят. Я уже к этому готова. Даже в тюрьму ходила посмотреть, как там... Поверите, никакой разницы.

Он был потрясен этой готовностью тюрьмы, а главное – замечанием, что разницы-то никакой. Края эти сплошь утыканы были раньше пересылками да лагерями. Срослись воля с неволей, превратившись в одно. И еще она ему сказала, что в этих краях живут люди, меченные горем. Человек с радостью внутри – отсюда бежит.

– А какое у вас горе? – спросил Павел.

– Я тут родилась. Это не горе, это доля.

Бродя по геологическим дорогам, Павел знал степень обреченности людей, прошедших и веру, и неверие и остановившихся на мысли: значит, так тому и быть. Он возмущался этим покорством, но и преклонялся перед ним, он хотел что-то изменить, но постепенно сам становился таким. Но тот случай с Тоней показался ему столь несправедливым, что где-то внутри полыхнуло: надо бы ей помочь, но тут же накрыло другое. Кто поможет? Ты? Ты себе-то помог? Ты дитю своему всегда помогаешь? Ты даже на смерть отца не успел! Так и моталась его душа между «сделай» и «остановись», и он то возникал у Тони и рассказывал ей о Питере, о белых ночах, и она, замерев, слушала, думая совсем о другом: по-разному к ней мужики подбирались, но чтоб через музей Эрмитаж – так вроде еще не было. И она выставляла его за дверь на самом интересном месте, а он, уходя, клял себя, что идиот, что живет себе девушка по «написанной судьбе», и не его собачье дело расшатывать перила этой ее судьбы. Что он ей может предложить? Какую такую дверь выхода? Бывало, что приходил он с собственной тоской и говорил про дочь, которая растет под влиянием матери, а мать... «У нее на лбу вздымаются жилы – символ алчности». Тоня думала, интересно, что это такое – символ алчности? Слово было чуд-

ное и непонятное. Спросить она стеснялась. Пошла в библиотеку, спросила у знакомой библиотечарши: «Валя, алчность, это что?» – «Ой! – сказала Валя. – Я понимаю, но объяснить не могу. Это что-то грубое». – «Дай словарь», – попросила Тоня. Но Валя сказала, что словари у нее только для правописания, без объяснений значения.

Потом у них с Павлом случилось *это*. И снова, как и с другими мужчинами, Тоня подумала: зачем? Никогда близость не приближала ее к мужчине больше, чем поход в кино или танец. В этих отношениях, думала Тоня, есть нужда у мужчины, а женщина просто приспособлена для этой нужды.

– Ты бы сказала, что это тебе ни к чему, – сказал Павел. – Я ведь не насильник.

– Но ведь тебе хотелось...

– Мало ли чего мне хочется! Это же не повод тебе соглашаться. Хорошо бывает, когда хочется двоим. Тогда кайф...

– С женой было лучше?

– С женой до поры до времени была любовь. Но любовь в наше паскудное время – исчезающая природа.

Больше он ее не трогал. Прошло какое-то время, когда она почувствовала, что ей это обидно. Но обидно не в душе, а как бы телесно. Руке обидно, ноге, животу... Ей никто никогда не говорил о тайности желаний тела, «которому хочется». Одна штукатурица время от времени, сжимая колени, кричала во всю мочь: «Ой, бабы, хочу! Все аж горит во мне!»

На ее крик шли мужики, и все было просто, как у кур. Раскрасневшаяся штукатурица приходила из подсобки с довольной мордой, и работа у нее горела в руках. Тоне было неловко от такой открытости стыдного дела, но она молчала, принимая людей такими, какими они родились. «Один – такой, другой – другой. Так ведь и травинок нет одинаковых». Но настигшее ее томление тела было ей неприятно, ибо она сразу стала слабой, стала от него зависеть, стала высматривать Павла, потому что не абы кого, а именно его хотела ее кровь. И однажды она его позвала к себе.

– Ну что у тебя? – спросил он, переступив порог.

– Поесть хочешь? – ответила она.

– Да, в общем, нет, я из столовой.

– Жаль, – сказала она, – у меня голубцы.

– Так бы и сказала, – засмеялся Павел. – Голубцов я сто лет не ел.

Они ели и смеялись, отчего это так обозвали капусту с начинкой. Ни голубь, ни голубой цвет тут как бы не подходили. Она боялась, не заметит ли он скрытого смысла ее голубцов – вот позор-то будет, а потому говорила больше о пище – вот, например, салат оливье. Что бы это значило в корне?

– Повар был такой, – сказал Павел, – по фамилии или имени, этого не знаю, Оливье. Он и сочинил этот салат.

Вот над этим «сочинил салат» Тоня и задумалась. Что-то сдвинулось в мыслях и стало раскручиваться. И повар может быть сочинителем и оставить имя. Ну и что? К тебе-то это какое имеет отношение? Никакого. Но Павел заметил в ее глазах это легкое смятение и даже понял его: девушка первый раз задумалась над тем, что человек в деле своем может оставить имя. Даже в таком деле, как готовка пищи. Ах ты, Господи! Какое же непаханое поле душа русского человека, все в нем растет вповалку, а тронь, заинтригуй – и пойдет плодоносить незнамо какими чудесами. «Лучше и не трогать, – решил Павел. – Зачем сбивать ее с толку. Что ей тут светит?»

Он приобнял Тоню по-отечески, как старший и мудрый, а она рванулась к нему с такой силой, с такой страстью, что он сначала даже растерялся. В общем, это случилось так, будто они встретились после долгой-долгой разлуки и уже задохались от муки и тоски.

Потом он долго держал ее в руках, прильнувшую и горячую. Боялся что-нибудь сказать, какую-нибудь глупость, потому что чего-то он не понимал в этой простоватой барышне и, по извечной мужской трусоватости в таких делах, предпочитал уйти, скрыться, хотя ему так было хорошо на этом абы как сделанном раздвоенном диване. Вся страна на таких любила, болела, умирала, рожала. Диван-кровать – символ отечества, победивший своих человеков. И он делал свое дело – символ, он выталкивал Павла как сделавшего дело, в конце концов тот скатился на пол, потому что Тоня раскинула руки и уснула. Лицо у нее было ясное, спокойное – у Павла даже горло сжалось от нежности. Он укрыл ее одеяльцем и ушел, потрясенный случившимся – уже сто лет ему так не отдавались и не забирали всего. А этого Павел боялся. Он уже прилично одичал в холостяцестве, послевкусие семейной жизни было отвратительным, когда-то он сказал себе: «Это наука на всю оставшуюся жизнь». Поэтому радость нежности, так неожиданно свалившаяся ему на голову, пугала – так ведь бывает при чувстве, а у него чувства к Тоне не было. Но и профессионалкой-обманщицей Тоня не была, он-то это знал. Значит, чувство могло быть у нее. «Что же я ей могу предложить, кроме как ничего? – думал Павел. – Ей муж нужен, чтобы дети пошли. А я просто мимо шел».

Он дал себе слово не ходить больше к этой наивной дурочке, нечего ей портить жизнь. Ему было неловко, но, думая такую мысль – что он Тоне не пара, он имел в виду мысль наоборотную, ну какая *она* ему пара? Заскорюзлый, грубый, заматерелый мужик вдруг вспомнил, откуда он есть и пошел. И все его детство с супницами, и родительский этикет, и походы в оперу всколыхнулись в нем темной противной пеной – мол, и что ты будешь делать в Питере с этой барышней с голубцами? Но разве он собирался в Питер? Разве не порвал он все корни с ним после той прошлогодней беды, и только корешки старых почтовых переводов были знаком его связи с этим городом – и больше ничего. Ничего! И тут он вдруг примеряет – как бы! – Тоню к тем забытым местам, в которых вырос, и ставит ее рядом с Медным всадником, и Тоне это – как бы! – не личит. Пропадет она на этом фоне. Стыдность мыслей стала абсолютно определенной, когда он вдруг взял и представил их рядом, Катю и Тоню. И получалось, что сволочная бывшая жена, она больше соответствовала ему, Павлу, и городу Питеру, а Тоня, не виноватая ни сном ни духом, не годилась для северной столицы – извините, рожей не вышла. От всех этих мыслей Павел совсем озверел и напился по-черному, попал в вытрезвяк, а когда вышел, то как бы и подзабыл, откуда и что пошло... Осталось только остережение: от Тони надо держаться подальше.

Сама же Тоня, не имея столь богатого опыта любви и предательства, не зная жизни в столице и хождения на певца Штоколова (бас и брови), была поглощена собой, своим странным состоянием, в котором Павлу как бы и места не было, потому что открытием она была сама, такая вот вся распахнутая для любовных дел, будто только ими и занималась всю жизнь. Чувства были волнующие, но самой себе Тоня такой не нравилась. Она не хотела быть похожей на знакомую штукатурицу. И потом, этот диван, такой весь стыдно-жалкий. И скомканная односпальная узенькая простынка, на которой остались следы, и теперь их надо застирать и высушить в комнате. Конечно, никто на это не обращает внимания, кастелянша просто часто говорит: какая сволочь выгвоздал простыню, что никакая машина ее не возьмет, и какая другая сволочь менструирует, как фонтан дружбы народов, у нее кровь аж на подушке. И все ржут – дело житейское: и трахаемся, и менструируем, где такой закон, что этого нельзя? Кастелянша кричала, что будет такой закон, что нельзя на государственном белье совершать личные дела. «Женись, купи простыню – и вперед! А на государственной – это свинство!» Этот разговор, как дождь в стекло, Тоня слушала сотни раз. Вот почему она, подстирав простыню, аккуратненько повесила ее над электроплиткой, чтобы она подсохла до возможности глажки.

Павла она не видела и даже вроде и не хотела видеть. Но дней через десять забеспокоилась, не случилось ли чего, узнала, что он на дальней делянке, а до того хорошо побывал

в вытрезвителе, вышел «зеленый, аж синий» и сразу уехал. Тоня не посмела спросить, когда вернется, ей вслед крикнули, что возвращается он через три дня.

Вот когда началось мучительное проживание этих трех дней, Тоня испугалась по-настоящему. Уже не тело ждало и маялось. Болело сердце, ныла душа, мысли рисовали страшные картины столкновений машин, валяющихся на земле электрических проводов, ядовитых грибов и прочая, прочая. Кто доподлинно может знать, с какой ноги встанет любовь? Вот может и так, с видения поваленного электрического столба на дороге и неосторожного шага к нему. Но Тоня этого не понимала. Она просто мучалась все три дня, ожидая. Она приготовила салат оливье, рецепт которого прочла в кулинарной книге. Тоже мне, повар из Франции. Да она сто лет знала, как его делать! И все делали его на праздники, целыми огромными тазами. Без оливье и праздник не праздник.

Мысль, что Павел не придет к ней, вернувшись, в голову не приходила. Придет! Тут интересен вопрос, откуда у скромной, очень неуверенной в себе женщины рождается несвойственная ей уверенность? Тоня бы очень удивилась, что думает так с подачи своей плоти, вкусившей радость, – чур меня, чур! – закричала бы Тоня. Но это было именно так, и хорошо, что Тоня не додумалась о сигналах плоти, а то каково бы ей было? Ведь Павел, вернувшись из поездки, не пришел. Салат оливье в полном составе был снесен на помойку, где его съели собаки, подклевали птицы и даже брезгливые кошки лапками вытаскивали испорченную, на их взгляд, майонезом докторскую колбасу. Мсье Оливье вполне мог быть доволен. Продукт не пропал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.